

АЛЬБЕРТ ЛИХАНОВ



ЭХ ВЫ!..

Повесть-эпитафия

*Памяти Гены Черданцева  
из села Карпово Алтайского края*

1

Явился он на свет Божий в красивом краю.

В хрусткие морозы и летними ясными утрами, когда воздух, и без того чистый в этих местах, становился уж и вовсе хрустально-прозрачным, а тучи и даже лёгкие облака разбегались по-над землёй, в далёкой дали являлись взору розовые далёкие вершины.

Горы, отстоящие от здешних полей и лугов, может быть, за сотни километров, вдруг показывали своё чудное обличье, маня собой, обещаая невиданную красу, даль немереную и какое-то невнятное волшебство. И Славик, как и полоумный Митяйка, и разный народ из всяких классов — от малышей до парней, опушённых по щекам да под носом лёгким мужчинским признаком, да и взрослый люд, в эти — не дни даже, а малые часы, — выйдя на улицу, как-то тише становился, задумчивее, какая-то в каждом возникала тихая радость или, может, ожидание чего-то хорошего, красивого, ярко-возвышенного. Как те далёкие отсюда, но ведь светящиеся же, нездешнего цвета, розовые горы.

---

*ЛИХАНОВ Альберт Анатольевич родился в 1935 году в г. Кирове. Окончил Уральский государственный университет им. Горького. Автор многих книг. Лауреат государственной премии России, премии Ленинского комсомола, международных премий им. Я. Корчака, М. Горького, многих других отечественных и зарубежных наград. Удостоен премии Президента РФ в области образования и премии Правительства РФ в области культуры. Председатель Российского детского фонда, президент Международной ассоциации детских фондов. Академик Российской академии образования. Живёт в Москве.*

Все они, жители их села, замирали, глядя вдаль, и Славик замирал, и походил на всех, как и все в эти мгновения походили на него: ни о чём он не думал, ничего такого не воображал, и хотя розовые горы что-то же всё-таки обещали, ничего ни от кого не ждал.

Просто глядел, глядел до слёз, и было благостно на его душе — вот и всё.

Словно кто-то всемогущий показывал картинку, но этот же всемогущий — раз! — и задергивал, точно занавес, всё это видение: ветер крепчал, горы слегка шевелились, вздрагивали, розовое затушевывалось белым снегом или серым туманом, и всё мигом исчезало.

Будто шутили свыше над этим сельцом и жителями его, — а, наверное, ещё и над народом соседних деревень, посёлков поболее и даже городов, — точно всем им говорили, не произнося ни слова, а лишь показывая: поглядите, поглядите, порадитесь, почему бы не порадоваться, а потом... живите дальше, как жили...

Впрочем, может быть, Славiku всё это просто казалось? И никто не замирал, не затихал, не становился тише и задумчивее, а это просто ему всё так мнилось. Ну ещё, ясное дело, Митяйке — а с него чего взять, полоумного? Вдруг как кинет его — на пол, если дома, а то и прямо в снег, коли зимой, или в грязь по весне — и ломает, выгибает всяко, а он кричит, даже не кричит, воем воеет, хрипит, потом затихает, умолкает, хнычет, как малыш... Припадочный.

Славик любил его... Да, да, именно так.

Он ещё совсем малым дитём увидел впервые Митяйкин припадок, и взрослые, не то что ребяшня, отскочили в сторону, чтобы вдруг окостеневавший, становившийся железным Митяйка, мотнув ногой или рукой в судорожном, каком-то слепом и, ясное дело, бессознательном движении, не свалил с ног, — так вот, увидев Митяйкин приступ совсем малым, он не отбежал в сторону и, хоть его окликали, остался стоять неподалёку от головы припадочного и всё вглядывался в его лицо, в его широко разверзнутые, но ничего не видящие глаза, и был в маленькой, согнутой Славинной фигурке, похожей на знак вопроса, и впрямь вопрос, не имеющий ответа.

Когда Митяйка отошёл и заскулил, маленький Славик наклонился к нему и неумело погладил по голове.

Казалось, припадочный ничего не ощутил и не заметил, но потом, когда прошло время, люди стали замечать, что немолодой уже и такой неудачный сын одинокой старой женщины по отчеству Глебовна, — имя-то её уже позабыли, только пара старух, путаясь, впрочем, что-то припоминали — то ли Ольга, то ли Мария, — в общем, люди стали примечать, что Митяйка, сын дряхлой Глебовны, мычащий, едва говорящий несколько невнятных слов, о чём-то курлычет с малолетним Славиком, который и сам-то ещё не в ладах с внятными разговорами, а поди ж ты — двое, не умеющих толковать, объясняются в чём-то и, объясняясь этак неловко, друг дружку понимают и друг дружке радуются.

## 2

Мать Славину звали Анной, по-деревенски — Ньюра, и носила она на себе, никак не могла избавиться, странное клеймо: пришлая.

Привёз ее в село жених, Славин отец Николай, справный в ту пору парень, из деревни, даже деревеньки, довольно далеко отстоящей от здешних мест. И кстати всё это случилось, — по крайней мере, так судили мудрые старухи на отшлифованных их задами завалинках, — потому что деревни поменьше помирали скорее, будто как торопились.

Народ оттуда съезжал кто как мог. Даже, рассказывали, горели те беззащитные малые деревушки, и не всегда от бродячего хулиганья, которого хоть и развелось великое множество, — всякие там туристы да бездельники, — но в такую-то даль эта публика добиралась редко. Дороги зарастали кустарником или ровнялись с полями; на новых картах умершие деревни не метились, так что умирали они от старости и загорались, по всей вероятно-

сти, от шаловливых молний. Те, кто всё же — больше люди от власти — добирались по случаю до этих деревень, вернувшись, других туда ехать отговаривали: мол, всё там будто после войны — стоят одни печи с трубами, ровно Мамай прошёл.

Ну вот, Нюра и была родом из такой дальней, где-то поближе к горам, деревеньки, и всегда, как погода остывала и розовые вершины зажигались вдали, выходила на крыльцо или останавливалась — на дороге ли, во дворе ли, — и слёзы катились по её лицу неостановимо.

В первые годы своей жизни в избе мужа, которому она досталась от покойных родителей, пришлая Нюра вела себя беспокойно, и был даже случай, когда она, уже на сносях как раз своим первенцем Славой, вдруг исчезла. С ночи.

Николай проснулся поутру, обнаружил своё одиночество, молча пометался по двору, потом пошёл на конюшню, тогда общественную, колхозную, попросил коня помоложе да и отправился в сторону гор.

Вернулся он в сумерки. Беременная Нюра неудобно сидела в седле, опустив подбородок на старый плюшевый жакет, Николай шёл рядом, держа лошадь за узду и тоже понуро свесив голову — будто что у него случилось. И, в общем-то, никто бы и не обратил внимания на этот эпизод, кабы не Митяйка, который, невнятно перебирая слова, среди коих было и предположительное “навверное”, произнесённое им невразумительно и невнятно, вроде как “тля-вель-о”, объяснил любопытствующим, будто Нюра убегала в свою родимую деревеньку.

Кто-то заверил: ну ясно дело, она же пришлая, не тутошняя, кто-то просто пожал плечами, а кто-то и рукой махнул на безумного Митяйку, сына Глебовны, имени которой никто не помнил.

Потом родился Славик.

Родила его Анна в районном роддоме, — всё чин-чинарём, привезла вместе с Николашей на грузовушке, которую выделил председатель колхоза.

Стали они жить и трудиться дальше. Николай, как вроде с рождения ему предназначено — трактористом, Нюра — дояркой. С образованием у обоих, как говорится, ни то, ни сё: Коля доучился в детстве аж до седьмого класса, а у Нюры и вовсе получилось всего-навсего полных шесть классов — оба со справками, даже не со свидетельствами. А дети пошли — стало и вовсе не до образования. Но и ещё: родив второго ребенка — через три года после Славика, косоглазенькую Матрёшу, Анна вынуждена была покинуть ферму — ведь чтобы доить, надо подниматься ни свет ни заря, а тут дитя грудное. Побегала она с Матрёшей на перевязи под грудь к коровкам, поддерживала её в убогой комнатёнке, надсаживая сердце возле коровёнок, не доить которых или, хуже того, недоить — смертный грех перед безгласной скотиной, а издала несётся еле слышный и всё слабеющий голосок плачущей малютки-доченьки...

И они с Колей решили: Нюре надо уйти, раз такое дело. Куда? А никуда!

Стала свободной птицей, никому, кроме семьи, не нужной. Да малость поторопились они. Потому что колхоз принялись разрушать невидимые из деревни новые власти. Собралось какое-то собрание, всем велели голосовать, и скоро после этого каждому работающему дали бумажку, в которой обозначалось — сколько паёв на сколько соток он будет иметь в личном владении.

Не где именно, от какого столбика или кустика до какого, а только — сколько. Вот и владей, как хозяин. Народ попробовал добраться до сути, но, чтобы доискаться, требовались деньги на землемера, который бы все разделил, на адвокатов-нотариусов. Да и как поделишь-то? Одному — удобья и хорошая пашня, другому — овраг. Пошумели и угомонились без всяких, к разъяснению дел, действий.

Ну да и что переживать? Нюре всё равно ничего не досталось, потому что к тому времени она из хозяйства ушла. Пай, точнее, бумажка, не внушавшая почтения, досталась только бедняге Коле.

Всё это происходило незаконно, но в законах малограмотный народ не разбирался.

В дошкольные свои и начальные школьные лета окружающую действительность Слава принимал с неизбежностью первооткрытия и естественной симпатией. Когда родилась Матрёша, ему самому-то было три годика от роду; когда следующая сестрёнка Настёна — только пять, когда Алёнка — семь, а Гришутка — девять. Последним появился маленький Семён — кулёк лупоглазый.

Со временем ничему его окружающему Славик уже не удивлялся, а даже как-то с малых лет от него притомился, наблюдая, как маманя, родив младенца и едва докормив его до каши, снова округлялась, снова ждала дитя, а потом съезжала из села дня на три, будто в короткий отпуск, и отец, повздыхав, опять то ли лошадь занимал, то ли, в последние-то годы, уговорив какого-нито владельца “Жигуля” за бутылку-другую поехать с ним в райцентр, возвращался с новым семейным пополнением.

Так что в Славином сознании не Новый год, не Рождество были зарубками и шажками к взрослению, а двух- или трёхлетние фазы, в результате завершения которых в доме появлялся новый человек, на удивление нынешним временам — все справные да здоровые.

Слава любил своих младших сестриц и братьев любовью простой, можно сказать, обыкновенной. Никто из взрослых его не приучал к этой любви, не читал сказок и назидательных сочинений, где старший братец всегда опора и защита младшеньких, наоборот, младшеньким доставалось от мамы наравне со старшеньким, едва они вступали в возраст, когда пора соображать и подчиняться.

Пока был Славик совсем мал и один, мама нянькала его и целовала, а папка подбрасывал к потолку их коричневой от старости избёнки. Как он поделился с косоглазенькой Матрёшей этой родительской лаской, ему и не заметилось — опять же по возрасту и потому как не пожалеть Матрёшу было нельзя. Больше того, он сам-то, ещё крохой, ощутил радостное ответственное чувство старшинства, подтаскивая от печки тёплые бутылочки с жидкой кашей, оттаскивая в тазик пелёнки-подгузники младшей сестрёнки, а потом и подавая бедной Матрёше свои первые команды.

И Настёна, и Алёнка, да и Гришка с Семёном являлись в Славином мире по природному естеству и никакого отвержения не порождали. Просто он однажды постоял возле больших амбарных весов во дворе фермы, ржавеющих от безделья, сам встал на них, чтобы измерить собственный вес, положил на круглую, приваренную основу плоскую гирию с прорезью, на неё ещё одну и ещё — и вот тогда, совсем неожиданно и вовсе не по-детски, подумал, что сестрёнки его и братишки, пятеро по числу, похожи на эти плоские гиришки, которые, рождаясь, сперва уравнивали, а теперь уже и перевешивают его собственную, Славинову жизнь.

Но и на весы эти он встал и подумал так уже в одиннадцать с небольшим своих лет, в пятом классе, когда и не такие ещё мысли приходят в голову подрастающему народу.

Трое, четверо, наконец, шестеро детей при совершенной необеспеченности родителей трезвомыслящие реалисты называют русским сумасшествием, безответственностью, бессмыслием, и будут правы.

Нюра и сама себя обзывала дурой, особенно выпивши и особенно при общении с Митяйкой.

Припадочного мужика неопределённых годов вообще признавали только дети и сильно пьяные взрослые, в трезвом виде от него отворачиваясь и всячески его обходя. Анна иногда с Митяйкой беседовала, особенно, конечно, летом.

Летнее время во всякой деревне благо, но и бескрайняя работа — сперва сев, потом прополка, окучка, потом уборка, а если свой огород, на котором растёт всякий овощ, то ещё и полив — по утрам да вечерам.

Они, конечно, ухайдакивались от работы, и Николай, и Анна, но это было поначалу, ещё до развала колхоза, пока живы стояли хоть худенькие, да тракторишки, и Николаю приходилось и пахать, и убирать, и возить бидоны с молоком от фермы. На Анну приходился огород и семейство — сколько наварить-то надо, да ещё скотинка какая-никакая — и коровёнка с телёнком, и поросята, и куры да гуси.

Однако постепенно работа в колхозе, потом на — частной уже — ферме сокращалась и сокращалась, заработки Николая вместе с ними тоже, и всё чаще он никуда не торопился, потому что его никто никуда не звал.

Жило так почти все село, похоже, уподобившись многим деревням русским, и народ наседал на огороды. Они всё же кормили. Ну, и домашняя скотина. Откормишь бычка или телочку, осенью мясо можно продать перекупщику, а то и самому на рынок отвезти. Но за прилавков там пробиться — настоящая головная боль. Ещё на подходе к нему чуть за рукав не хватают черноглазые мужики да парни, предлагают тут же купить — и цену назначают, которая, в лучшем варианте, вернёт истраченное, если всё-то пересчитать — и корма, и хлопоты, и всё, что ни назовёшь...

Появлялись перекупщики и прямо в селе, с ними стоило сговариваться, потому что скотину они и увозили живьём, а уж там...

Стоял, правда, ребячий и бабий рёв возле фермы, куда для удобства сгоняли всю скотину и грузили ее в крытые длинные, нерусского вида грузовики... И то! Прощались ведь не с чем-то бессмысленным, а с родной животинной, не только выращенной и вскормленной, но ещё и полюбленной, как всякое живое и близкое существо.

Одна старуха, отревевши и дождавшись с остальным народом, когда грузовик удалится, подняв столб пыли, будто столб дыма, проговорила, задумавшись:

— Будто на войну отправляем! Эдак же было!

— Не на войну, — поправил её какой-то шибко умный, в джинсах, селянин, бывший в поддании, — а на бойню!

— На бойню, на бойню, — не сломалась старушка. — Значит, на войну...

Расходились от фермы молча, угрюмо, как, наверно, расходятся предатели, сделавшие своё чёрное дело. Если, конечно, предатели вообще сходятся или расходятся где-нибудь...

Однако говорится это всё к тому, что, получив деньги за проданную скотину, по всей деревне начинался пьяный гул, который продолжался и день, и два, и три, пока не иссякал, не выдыхался, а Бурёнки, Маньки, Фроськи уже, глядишь, завершили своё пребывание на земле в кишках ненасытного городского люда. Так что плакать или переживать больше уже не было толку.

Семья Нюры и Николая не отставала от деревни. И всё ещё было бы ничего...

## 5

Потом оказалось, что молоко с остатков местной фермы далеко возить, и скупают его дешевле, чем стоит его надоить. Частники, несколько бывших сельских семей, вконец разоряться не пожелали, скотинку разом сдали перекупщикам, и через зиму приземистое продолговатое здание, когда-то светившее внешней побелкой — посерело, окна повыбились — или стёкла растащили? — и полегла наземь павшая колхозная ферма, словно мёртвая коровушка, враз осевшая, покинутая всеми, отвергнутая плоть.

Потом, дело было ядрёной зимой, опять появились торгаши, да ещё какие вежливые, приятственные — в чёрных, здесь небывалых автомобилях на больших колёсах, обходительные и, в общем, щедрые: они скупали паи. Те самые блеклые бумажки с подвыцветшими печатями, согласно которым земля, неизвестно где находящаяся, но всё же принадлежащая, например, Николаю, вдруг обрела цену. Надо же!

Народ с ликованием принял скупщиков и нотариусов, так что цены по ходу дела слегка упали, а если привередничать, так и сильно упали, но зато обернулись наличной денежкой, и опять загуляло село во все тяжкие, по-

ка — кто с умом, а кто и вовсе без оно́го, до конца не снесли эти денежки в местный магазинчик, процветавший на неожиданно бойком бизнесе.

У семьи Николая и Анны паёв было меньше, чем у прочих, поэтому и печалиться им досталось вроде как покороче, хотя и о чём тут печалиться, если деньги — дают, а земля, прописанная в бумажке, — чистой воды наваждение и вымысел?

Николай при этом проявил силу воли. Была у него мечта — во имя спасения многодетной семьи и одоления тягот — построить по весне крольчатник, потому как известно, что кролики плодятся скоро, кормятся простой травой, быстро вырастают и дают диетическое мясо, не говоря о пухе, из которого, при желании, старухи навьют тебе и шапочек малышне, и варежек, и носочков — носи, не хочу!

И он своего достиг!

О, это была настоящая перемена их жизни! Деньги понадобились на несколько нетолстых длинных брёвен, на доски — несколько всего кубов, ну, да на пять кроличьих пар, которые, по расчётам тракториста, через тридцать дней должны были удвоиться, потом утроиться, потом учетвериться, и всё это в геометрической прогрессии, о чём он догадывался по воспоминаниям о математике седьмого класса и по своей собственной крестьянской догадливости.

И всё пошло как по-писаному. Сарай он сколотил, кроликов завёл, а уж детская команда под управлением Славы столько молочая да клевера натаскивала с окрестных лужаек, что кролики не поспевали поедать.

В июне явился первый приплод, щедрый против скромных предположений. Семья словно оживила. Отец весь светился, за столом только и разговоров, что о кроликах, детей одарили забавой — дать каждому крольчонку имя, и спор, кто и как выглядит под каким именем и кто над кем из этих милых зверушек шефствует, не утихал даже за обедом.

Переменилась и Нюра.

Она уже давно ходила неопрятная, молчаливая, как будто придавленная. Чем? Бескрайней своей семьёй? Огородом и домашней скотиной, про которую и зимой, и летом надобно думать каждую минуту? Тоской от утраты девичьего дома, деревушки, исчезнувшей с лица земли?

Но для женщины крестьянской породы всё это обыкновенно и если не радостно, то не в тягость и не в смертельную тоску ведь — каждому, как известно, на роду написано то, что написано. Миллионы женщин живут именно что так, не гонясь за комфортом, за бездельной жизнью перед телевизором. Ну, правду-то говоря, скорее — жили раньше. Теперь, сокращаясь день изо дня, по причине естественной, то есть помирая, живые вдруг, всё собрав и продав, убежали в города к своим детям, внукам, правнукам, в уголок на сундуке, всё равно как, лишь бы подальше от вековой и горькой, без сна и отдыха, деревенской бабьей доли.

Даже не в виде разговоров, недовольства, слёз, — а их-то целый океан! — а в виде духа какого-то рьяного, какого-то тумана, мги душевной бродит ныне по-над русскими селениями эта не то что мечта, а простая необходимость обещаясь, не истратить остатки жизни на что-то смутное, бедное, несобящее, хоть и называемое землёй родной, а то и ещё возвышеннее — родиной. Да уж какая-такая Родина, когда где-то вёрст за полтора-двести — вот тебе и горячая вода из крана, и тепло от батарей, никаких тебе дров. И зарплата у детей, хоть и невелика, может, но два раза в месяцок — вынь да положь, гражданин-работодатель, хоть, понятное дело, на работу-то и не просто пристроиться...

Смута эта уж давно обрела реальную силу, которой подчиняются не только целые семьи, но и целые деревни, посёлки и даже малые города, где если кто и остаётся — так совсем уж старый люд, дряхлые пенсионеры, которые, однако, скоро уж вымрут, освободят свои углы да избы, и земля наша родимая — что? — зазеленеет снова? Займётся небывалым цветом нераспаханных угодий? Затянется нежным по весне осинником, годным, однако, в некотором будущем на спички?

Смута эта, обретающая силу решений, слома судеб, суеты переездов и обретения новых несчастий, овладевала и Нюрой, да ещё и кличка — пришлая! — усугубляла смуту эту, но...

Нюра понимала всё-таки, что с шестью классами и малышкой по лавкам, да и с мужем-трактористом, никуда ей с места не стронуться. И здесь доживать, пока не выросли дети, не распрямили крылышки свои, а там, может, взлетят, хоть и не высоко, а далёко — и авось утянут с собой...

Тем, похоже, и утешалась, ни с кем и нигде словом о том не обмолвившись.

## 6

И зачем он только вздумал устроить этот крольчатник, да ещё, как оказалось, уже не на своей земле? Эвон как вывернуло: бумажки, бумажки, ничего не значащие пай, неизвестно как и кем делённая земля, а продал, получил хоть какую денежку — и тебя уже не спросят, а сразу означат: вся скупленная земля стала чьей-то, у нее есть хозяин, и он не позволит на его земле что-то строить или, того пуще, разводить.

В общем, к осени, когда обычно сеют озимь — но в селе давно ничего и никто не сеял — к воротам дома Николая дома подвалило фасонистое авто, оттуда выскочили двое мордастых, уголовного вида хахалы и, вызвав отца, которого тут же окружила его малолетняя рать, приступили с допросом: — Это твой, хозяин, крольчатник за околицей?

Сперва Николай был радостно откровенен:

— Мой! — вишь, семья-то?

Но на семью мордвороты не глядели — глядели на взрослого отца.

— Но у кого же ты испросил разрешения-то? Строиться?

— А чё, — смугился Николай, — надо спрашивать? Земля-то ничья! Общая!

— Общая? — заржали приезжие. — Какая она общая, если ты свой пай продал. Теперь чья-то! Так что давай! Без лишних разговоров! Сноси! Оттуда пашня начинается, а у земли теперь есть хозяин. Через неделю начинаем, поторопись, не то... Сам знаешь!

И как Николай ни подбирал слова, что надо ему хотя бы до заморозков дотерпеть, те пришлые только хохотнули:

— Предупреждён, значит, извещён!

Слава, конечно, был возле отца при этом нахальном наезде, но когда тот пошёл в бывший сельсовет искать защиты у власти, остался дома.

Отец вернулся просто чёрный, в глазах у него взблескивали слёзы, а губы тряслись. В таких семьях не говорят с глазу на глаз, а только сразу всем, и отец с порога объявил:

— Не буду сносить! Не буду! Не имеют прав! Мы многодетные! Что нам, подыхать?

Нюра стояла во дворе с младенцем, он зашёлся рёвом, будто первый всё понял. Это был Григорий, Сеня ещё не планировался. Ему слаженно подвыли Алёнка с Настёной, мать прикрикнула на них, ведь они заревели просто за компанию, и спросила:

— Может, послушать? Ведь всё потеряем!

— А власть на што? — испуганно воскликнул Николай, и слезинки выкатились у него на щёки.

— Власть на што? — повторил неуверенно и прибавил: — Я участковому заявлении написал! Об угрозе!

— Охо-хо, Коляша, — проговорила Нюра дерзким тоном. — Какая власть? Какой участковый? Али ты ослеп?

Во дворе толкся Митяйка. Никто не видел, как он зашёл — да и стоял он тихо, только после Нюриных слов что-то стал лопотать:

— Афицлоликовтозаплате!

Слава перевел:

— Говорит, кроликов спрячьте.

— А куда? — заголосил отец. — И почему? Там для них всё специально построено!

День закончился тем, что Славе, Матрёне и Настёне с Алёнкой дали принести в избу по паре самых маленьких крольчат, но они насорили за вечер

и утро своих шариков, Нюра заругалась, и всех их опять же снесли обратно, потому что пока было тихо и никто ни с чем к крольчатнику не приступал.

Через три дня про угрозу забыли, через неделю над ней посмеивались. А недели через две проснулись от громкого стука в окно. Стучал Митяйка.

Всклоченный, напуганный, полуодетый, он чего-то мычал, и когда Николай, а за ним Нюра и Славик выскочили на дорогу, то увидели, как за околицей полыхает крольчатник.

Отец схватил ведро с водой, Нюра закричала, запричитала, выбрались из постелей Матрёна, Настя и Алёнка, только Гришка спал, и все они кинулись к жалкой своей собственности.

Строение полыхало сразу со всех сторон, войти в него было невозможно, кролики безмолвно исчезли в огне, хотя их было ведь уже много — геометрическая прогрессия природы действовала безотказно, и Николай, закончив все ладом, мог бы чувствовать себя хоть каким, но всё же победителем.

В Славу это всё врезалось будто ножом: огонь, быстро сожравший доски стен, чуть дольше догоравшие поперечины, скорое обрушение и целый столб красный искр, поднявшийся в чернеющее осеннее небо. И все они, кричащие криком: отец, мать, три сестрёнки и, может быть, громче всех орущий он сам. От отчаяния, от несправедливости, от чьей-то тяжёлой чужой силы, которая, не считаясь с ними, уничтожила этот несчастный сарай и несчастных безмолвных кроликов, у которых ведь и голоса-то нет!

Эти семь освещённых пламенем и бедой лиц, — с ними прибежал и Митяйка, — эта беспомощность их общая, их ненужность никому, Славу ломали изнутри: он искал и не находил ничьей защиты, а отец казался ему точно таким же, как и он, слабосильным мальчишкой, только возрастом постарше — а во всём остальном таким же беспомощным, слабым, сломленным.

Потом как-то разом наступила тишина. Балки давно рухнули, догорая, доски превратились в уголья, подходить к пепелищу и рыться в нём было бессмысленно. Они постояли ещё с полчаса — минут сорок, пока огромных размеров кострище не уgomонился вконец, и поплелись к дому.

Митяйка двигался первым, что-то бормоча. Нюра и Николай шли обнявшись следом, девчонки следовали одна за другой, гуськом, и за ними, замыкая шествие и чуть поодаль, брёл Славик.

Лицо и грудь его ещё горели от пожарища, а спина мёрзла, даже леденела.

И тут его поразила тишина. Село спало, не соизволив даже встрепенуться, а над головой сияли, низко опустившись, огромные звёзды. Казалось, какое-то надземное многоглазое существо с любопытством таращится на этих людей, на их беду, которая вдруг свалилась ни за что, ни про что, и никто не подумал придти им на помощь.

Славик поотстал ещё, остановился, огляделся во все стороны. Плотная темнота обступала его, только от бывшего крольчатника изредка прорывались не всполохи, а просто промельки света; звёзды смотрели равнодушно, и чёрная земля под ногами сливалась с небом.

И Славик подумал неожиданно, что ничего не изменится в этом мире, если не станет и его, а не только каких-то маленьких и беспомощных крольчат. Что и он — как крольчонок, а может, и просто песчинка, исчезнет в один миг — и мир не содрогнётся.

И ещё он подумал, что с этим ничего нельзя поделать.

## 7

Родители напились, да так шибко, как никогда ещё не бывало в их доме.

Выпивали они и раньше, крепко тоже выходило, но в этот раз получилось что-то небывалое. Маманя и раньше понемногу гоняла самогон — покупали сахар, дрожжи, получалась у них прозрачная водичка, оба говорили — та же водка, только крепче почти вполтину, а по цене так во много крат дешевле — тратиться на магазинное, с наклейками, они не любили.

Гриша, когда все вернулись, всё спал и улыбался во сне. Славик ещё завидовал бессмысленному младенцу: и пожар, и кроликов — всё проспало



невинное дитя. А отец тем временем, как был, полуодетым, налил полстакана и слил в себя. Потом ещё добавил. Обождал, пока старший сын протянет огурец.

Оба они буквально тряслись — и отец, и мать, сели на лавки друг против друга, даже не омылись от пожарной копоти, и принялись догонять друг дружку. Стакан за стаканом.

Отец уснул, бросив голову на столешницу. Нюра, некрасиво шарашась, разводя руки в стороны, будто разом ослепнув, нащупала взрослую кровать возле малышово́й Гришкиной, бухнулась навзничь и умолкла.

Слава с сестрами молча глядели на повергнутых родителей. Неясно, что испытывали неговорливые сестрицы по возрасту своему, может, и ничего — ведь ранее детство не судит родителей, а принимает такими, какие есть. Славик же судить не смел, и будь постарше, может, в этот раз, как и родители, налил бы себе прозрачного пойла. Его всё ещё колотило, и он пошёл умываться, долго лил воду на лицо, на всю голову, на руки — пока постепенно дрожь возбуждения и горести сменилась дрожью остуды. Не было в его владении средства, которым располагают взрослые и которое выключает всё и сразу — и мысли, и движения.

Около полудня загудела, затрубила корова Манька. Славик и без этого напоминания знал, что мать пропустила утреннюю дойку, и животине тяжело, даже больно, и попробовал родительницу окликнуть. Нюра только повернулась на бок и проворчала что-то нескладное.

Пришлось Славiku брать в руки ведро, подсаживаться под корову. Та облегчённо вздохнула после первых струй, неумело сдоенных мальчишкой, но ничем не выразила своего недовольствия — ведь дойщик был ей существом известным и неврадным, значит, допустимым.

Слава подоил Маньку рукой не то чтобы неумелой, скорее непривычной; до сих пор мать, щадя его мужское преимущество, к корове не подталкивала, ждала, когда дочки подрастут, научила только, как это делается, дала малость сдоить разок-другой, на пожарный, так сказать, случай. Да вот он и прибрёл — этот случай.

Придя в себя, мать его дойку не оценила, ничего вообще не сказала, растолкала мужа, сели вроде как обедать. Подрезала хлеба, и снова они стаканы свои наполнили.

Щи-то так и остались, почитай, недоеденными. И снова свалились родители в глубокий сон, а скорей-то в самодельный наркоз, и снова дети промолчали — теперь уж расплозились по своим углам и делам на улицу, в огород да баньку. Да, вот ещё: Григорий гукал и радостно пускал пузыри, пока что в лежачих родителях не нуждаясь, потому как принял его прямо в руки старший брат и накормил кашей, а младшие сестрёнки по очереди тютюкались с ним, то на полу, то в огороде — приодев потеплее по нежаркой уже погоде.

Ещё, грешным делом, Славик подумал тогда, что, подрасти девчонки на год-два, так они вседетским своим сборищем и с хозяйством помалу сладят — вовсе без взрослых. Тут же себя осёк. Как это без взрослых? Корову-то не только доить надо, но и кормить — где теперь, когда вся земля кому-то отведена? В лесу? Дак и лес, может быть, уже чужой. Ходить по опушкам, подкашивать зелень, таскать в мешках? А свиньи? Им заваривай комбикорм и картоху, иначе охудеют — какой прок? А куры? А гуси?

Ну и всё остальное — как? Стирка, глажка, дрова на зиму... Да и школьные дела — вот-вот не он один учеником станет, но и сестрицы по очереди.

Малым детям, особенно по нынешним временам, поздно вато даётся чувство беспокойства не то что за других, а за самих же себя — и неясно до конца, благо это или родительская беспечность, однако ведь и дети детям рознь. Одни в благодати купаются и беззаботстве, другие, вот как Славик, окунаясь в заботу по нужде, а то и по отчаянию...

Впрочем, поначалу никакого отчаяния не было, а была разделённая со взрослыми скорбь. Жалость к кроликам и сарайке, обида, нанесённая неведомо кем, ведь мордovorоты на форсистой машине только чьи-то гонцы, просто угроза, может, даже и исполнители угрозы, но приказал-то кто-то, из их

избёнки незримый, владелец земли, которая всегда была общей, а, значит, их тоже. Но теперь — отторгнутая навсегда. Почему, по какому праву?..

## 8

О ту пору Слава готовился в четвёртый класс, и ох как не всё ещё в нём устоялось. Да что там! Иные гоголи и после полной школы-то — чистые дети, ничего о жизни не разумеющие, а мыслями своими порхающие, точно легкокрылые бабочки: ни забот тебе, ни тревог. Чистое, безоблачное детство!

Слава уже и в третьем классе сельской школы, где все дети собрались от земли, от семей если и не работащих, то жизнью отягощённых, озабоченных тревогами и беспокойствами — выделялся какой-то большей, чем у других, сдержанностью, строгостью к самому себе и жёсткостью не только в отношениях с другими, а ко всему окружающему.

Казалось на первый взгляд, что он робел, но это было не так.

Нельзя сказать, что он от других ребят отгораживался, или от ученья — нет, он просто не ликовал малолетским ликованием в случае учительской похвалы, а опускал глаза, едва розовел, и получалось, будто хорошая оценка предназначалась не ему, а кому-то третьему... Он никогда не торопился с выражением благодарности — смотрел недоверчиво, словно пропуская доброе мимо себя, над собой и ожидая ещё чего-то, какого-то, может, подвоха. В ответ детское окружение, сотоварищи по классу, Славу выделяли ответной к нему осторожностью, точно между ними и им была какая-та канава, наполненная водой.

В общем, товарищество его было очень сдержанным — он не подпускал к себе близко, пожалуй, никого, и никто этому не удивлялся, хорошо зная, что этот мальчонка, стриженный под ёжика — и не у парикмахера, а материнскими ножницами, — из слишком уж многолетней семьи, и ему после уроков надобно не валять дурака, а скорее бежать домой.

Той осенью, когда сгорел крольчатник, да, считай, через день-два после пожара, но ещё до начала школьных занятий, на сельской улице послышался какой-то приглушенный, явно чужого происхождения рокот, и народ, кто мог, конечно, и кто был дома, первым делом, конечно же, ребятня, высыпал на улицу, дивясь увиденному.

По ней этак надменно, пружинисто и осанисто, на громадных рифлёных колёсах катила железная красота, сияя новой зелёной покраской, сверкая стёклами водительской кабины и задрав над собой острые, сверкающие лезвия целой щетины плугов.

Невиданный трактор, чужестранный гость этот, катился за всё той, знакомой уже, фасонистой машиной, которая притормозила возле пепелища бывшего крольчатника. Сердце у Славы затрепетало — он ведь побежал за этим трактором, чтобы подивиться невиданному чуду, а тот приехал не только удивлять...

Окно в джипе приоткрылось, чья-то рука махнула вперёд, указывая на угольные останки сарайки, чужестранный трактор легко пыхнул, свернул с дороги, изготовился будто, опустил рога плугов и легко двинулся вперёд, без всяких усилий окончательно стерев с лица земли остывшие уголья выстрадавшего отцом и беспощадно спалённого кем-то добра.

У него, наверное, были тысячи лошадиных сил, у этого тракторища! Он катил по прямой, переворачивая добрую землю, снося и засыпая ею же всякую поросль вроде репейника и осинового подроста, и мощь его не могла не вызвать простого удивления чьими-то золотыми умами, придумавшими такое чудо!

Слава глядел на всё это чуть впереди и в стороне от других ребят, и смутные, несовместимые чувства бродили в нём — и восхищение трактором, и ненависть за его лёгкую расправу с угольями крольчатника, и поражённость такой мощью и лёгкостью, которую ни он, да и никто из людей постарше его, не видел в тракторах наших, прежних.

Он долго смотрел влед огромному зелёному жуку, бороздящему поле за околицей, подождал, пока он вернулся, развернулся, загребая плугами

очередную широкую полосу, и отправился вновь вперёд, почти к самому горизонту.

Когда Славик, глубоко вздохнув перед тем, обернулся, чтобы идти домой, он едва не уткнулся в отца. Николай стоял у него почти за спиной, и опять в глазах у него что-то взблескивало и дрожало.

— Американец, наверное, — сказал он неуверенно сыну и обнял его, поворачиваясь вместе с ним к дому. — Или немец...

Они прошли несколько шагов.

— Мне на такой не работать, — сказал отец, горестно усмехаясь.

— Да? — равнодушно спросил Слава. — А чего?

— Грамотёнки не хватает, — ответил отец тоскливо. — Да и много ли трактористов-то нужно при такой машинище? Посмотри, как волокёт! Какая скорость! Какой захват! За три дня всё перепашет.

Они ещё постояли. И ещё чуток посмотрели на зелёную машину, становящуюся то меньше, то больше, и не бредущую, не ползущую по пашне, а почти что летящую.

## 9

Когда хозяйство хиреет постепенно, нарушения его не так заметны. Ну, к осени порезали гусей, чего тут особенного, закон такой, их всегда к морозам режут. Потом куры передохли от какой-то заразы, пришлось изредка в магазин бегать Славе — за яйцами. Дак всё равно же за хлебом ходить надо. Иногда, с похмелья, маманя требовала красненького, это был какой-то “портвей”, в магазине Славе его благосклонно отпускали, понимая, что это он не себе. Да ведь он и деньги платил.

Эта фраза требует объяснения, потому что денег в селе вообще-то было мало. Исправно их получали пенсионеры, ещё точнее — пенсионерки, потому как старичков окрест почти не осталось. Остальные, рабочего возраста народ, потерявший свои несчастные должности, что на ферме, что в поле, порастратив выручку за скупленные паи, приноровился магазинные продукты брать в долг, рассчитываясь, когда бабушки-пенсионерки дождутся своего ежемесячного почтальона. Какие-никакие, пусть тонким ручейком, но денежки в село притекали теперь почти только через старичьё, и их в основном доставало, чтобы покрыть торговые кредиты. К тому же магазин был давно не сельповский, а частный, как и всё вокруг оказалось в одночасье частным, и умел ждать возвратов, чтобы снова обновить свои запасы да получить навар, без которого не бывает никакой торговли, особенно лукавой частной.

Надо заметить, что к таким государственным, как кое-кто считает, на хлебникам вроде пенсионеров пристёгивались многолетние семьи. Что-то им на каждое дитё причитается — много или мало, трудно определить, часто сие зависит от местности, но всё же причитается, и Нюра — особенно подвыпивши, — бывало, могла возгордиться незнамо чем и сообщить мужу и малолетнему своему отряду, что всё же деньги-то в семье получает одна она за свои материнские усилия.

Николай в ответ то смеялся как-то безрадостно, то опускал голову, а то и вовсе из избы выходил, осерчав. Ведь такой вот неделикатной гордостью жена его и мать его детей корила, получалось, отца за то, что у него нет работы.

Но маманя была всё же и права. Вот в школу надо и сумку, и тетради с ручками, и учебники. Ничего же этого нельзя получить без денег. Да и новую одежду, ботинки, носки-рубахи всякие да курточки — кто их даст в кредит?

Конечно, в каждом доме хранился где-то неприкосновенный запас, опять же у старух — на похороны, на поминки, но деньги эти если и вынимались, то в крайней нужде. Впрочем, в Славиной семье старых людей не было.

Скоро в школу пошла Матрёна, и село сразу заприметило эту жалкую детскую пару: Слава, всегда серьёзный, неулыбчивый, но вежливый паренёк, и испуганная, косоглазенькая его сестрёнка, будто задумчивая, не торопящаяся — ни ходом своим, ни словами, которые надо произнести. Даже самые простые слова приветствия.

Будто меткой какой клеймены эти двое ребятшек из дома, взрослые жизни которого тоже отчуждены неизвестно по каким причинам от всего остального села.

Со стороны могло показаться, что селение являло мудрую терпеливость к этому гнездовью — двое взрослых и шестеро ребят — и осмысленно не трогало их своим радением, которое не всегда ведь бывает разумным, а чаще — навязчивым, тяжёлым, принуждающим не к одному, так к другому. Но на самом-то деле люди, лишённые привязки к собственной земле и работе на ней, не соединённые состраданием, рассыпались в прах пусть из не крепкой, но всё-таки общности — теперь уже всяк за себя; а то, что с другим — это другого и забота.

Даже в школе, куда Слава и Матрёна приходили на долгий день, учителя, из которых, к несчастью, никто не выделился своим добросердечием, интереса к брату и сестре не проявляли, лишь мельком регистрируя их присутствие в детской редеющей толпе. А косогазенькая первоклашка после своих уроков, которые заканчивались раньше, тихо дожидалась на скамеечке, пока не закончатся уроки у брата. Потом они вместе как-то неторопливо, будто задумчиво, вышли на улицу и медленно, не по-детски, двигались в сторону родной избы.

Селом владело равнодушие, как овладевает оно неразумной скотиной перед заклинанием...

## 10

Дитя ко всему скоро привыкает — к хорошему и плохому, оно ведь не умеет сравнивать свою жизнь с каким-то там образом. Оно просто живёт рядом с грешащими у них на глазах взрослыми и где-то в глубокой глубине и великой тайне утешается тем, что имеет, радуясь незримой и неприязательной радостью, а даже и страдая от родни своей — но страдает скоро, будто бы торопливо, одолевая минутное отдаление, с тем чтобы вновь припасть к главному — к любимым рукам, к прощению, к поразительно неразумным взрослым, прощая их за этакую странную непутёвость и великую русскую беду — потерю всякого разума от оголтелого, бестормозного пьянства.

С наступлением морозов закололи кабанчика и зиму одолевали не хуже всех: мясо да картошка в достатке, дрова для печи заготовлены с лета — никто не голодал.

А под сытую еду чего же и самогончиком не осветлить своё тусклое существование? Не помечтать о каком-никаком чуде, вдруг бы пришедшем вот в эти старые дощатые двери? В виде внезапной перемены нравов, например, возвращения всеобщего труда, а не царства безделья? Перемены власти — этой беспощадной и бессердечной — хоть бы и в виде увольнения на веки вечные бессменных при таком режиме сельских начальников, которым лишь бы самим жить да гужеваться, а остальной народ — хоть сдохни до единого!

Такие смутные речи, едва не каждый день, слышал Слава, и никого они не трогали, кроме, видно, произносивших их почти что наперегонки матери и отца.

Но они были — мать и отец-то, вот что! И хоть надоели порядком Славе их каждодневные всем недовольства, он научился каким-то макаром отключаться от взрослых слов и просто поглядывать на родителей, просто есть, думая о чём-нибудь своём и даже переговариваясь с младшим народом о разных детских заботах.

Получалось, что взрослые, когда выпивали, жили одной жизнью, а дети — другой; и хотя это не походило на привычки и правила русских женщин, Нюра все меньше заботилась о детях, доверив это занятие старшему сыну, и всё больше наслаждалась свободой своего волеизъявления, где разговор был главным смыслом, чоканье стопками — главным событием, а по-слеобеденный тяжёлый сон — забвением во благо.

Потихоньку-помаленьку Славе пришлось освоить подстирку за малышами их уделанных штанишек, готовить еду для маленьких — не станешь же

их кормить свиной. А ещё глажка постиранного, подтопка печи, особо — зимой, когда не раз приходится подбрасывать дрова. Ну, и обиход скотины. Если мать утром всё-таки выдаивала корову, то на вечернюю дойку собирала своё брвенное тело с трудом. Единственное, к чему Славик не был причастен — это изготовление самогона. Но тут свою вахту выдерживал папа. Как ни худо себя чувствовал, а это производство не запускал.

Однако добро, как известно, воссоединяется с другим добром очень недоверчиво, трудно. А вот худо к худу — бегом бежит, изо всех сил торопится.

Каким-то простым способом нашёл папа Николай себе друзей — такую же ненужную пару. Жизнь теперь переменялась, и очень даже часто никто к обеду Славу с Матрёной не ждал, а, наоборот, забыв всякие свои обязанности, Нюра с Колей к обеду-то как раз и пропадали, оставив на хозяйстве пятилетнюю Настёну. Та, ясное дело, гордилась ответственными поручениями, но с Алёной, а потом и с новорожденным Гришей ничего поделаться не могла. Только пасла их. Как гусей.

Поэтому ход Славика и Матрёши из школы ускорился, да и Матрёша больше не прохлаждалась на лавочке в школьном коридоре, а, частенько оскальзываясь на снегу, по братовому указанию торопилась домой раньше него, чтобы до его приятия командование прихода на себя.

Новые сотоварищи Николая и Нюры были — не внешне, конечно, а по жизни — как две капли похожи на них. Степан когда-то заведовал птицефермой, хотя не имел по этой части образования, за что и был уволен. Маня, жена его, была дояркой — так и животноводство в селе давно и успешно похерили. Детей у них было только двое, но они оказались постарше, чем отряд Нюры и Николая, уехали в город и там учились на кого-то, родителям непонятно.

Ну, в общем, и они спелись. Или спились? Это бы вышло слишком просто. Нет, их соединяли невидимые нити, кроме, конечно, похожей ненужности. Нюру как-то возбудило сообщение о Маниных детях — дочери и сыне. Та всё гордилась ими, и какой разговор у них ни заводился, завершался всегда одним и тем же. Вот сынок Вася записался на курсы водителей и метит получить права. Хотя о машине пока речи нет! Но ведь молодец же, молодец! А вдруг — что привалит? Конечно, главное, на какую работу устроится, став этим, как его... менеджером, но ведь ещё и другое бывает, а? Вдруг станет удачно. На богатенькой горожанке! Они же там, поди-ка, почти все богаче наших!

Или вот дочка, Оленька. Хороша собой, учится славно, получает стипендию. Будет юристом — о-о-о! Чего это такое, Маня не очень понимала, но ведь все слышат, что эти юристы теперь везде сидят, вон и на троне тож, так что главное ей пожелание — не промахнуться. Надёжного бы женишка, да раньше времени не обмишуриться, в подоле бабке и деду не принести — куда им будет деваться?

Все эти беседы, опять же под неизменного друга-первачка, волновали Нюру, подавали надежду Николаю, и не раз, не два, возвращаясь врасстыпыр, скользя и падая то в снег, а то в грязь, родители, владеющие значительным детским ресурсом, восклицаниями да междометиями убеждали себя в правоте семейной линии.

- Вот Славка-то! А?
- Да и Настёна! Вот погоди!
- Алёнка! Красавица!
- А чем Гринька? Ха-ха!

В пьяных этих восклицаниях не очень-то и скрывалась родительская любовь к своему детскому стаду, сладить с которым им пока удавалось без сильных, в общем, хлопот.

Может, это все слагалось из их собственной в себе неуверенности? Когда человек не знает, что будет с ним самим, он ищет спасения в чём-то и в ком-то другом. А на кого ещё положиться в своих чаяниях, как не на собственных детей?

Сельская школа, куда по утрам брели Слава с Матрёшей, была невелика и, в общем, умирала. Учеников всего-то меньше пяти десятков — от первачков до выпускников, да учителей и всех прочих школьных работников, включая директора и уборщиц, с десятков наберётся. Может быть, потому директор вынужден был лично, за отсутствием физкультурника, организовать баскетбольную секцию, в которой выделил младшую группу. Туда записался и Слава.

Но баскетбол — игра хоть и коллективная, дружеская, а всё же полная всяких там столкновений, отталкиваний в борьбе за мяч. А Слава всего такого не любил по причине своего характера. Можно заметить, дескать, какой там ещё характер в четвертом-то, пятом классе. Любые характеры ещё только высовываются, как по весне щетинка новой травы из-под опавших прошлогодних листьев, и всё можно переменить, любой характер. Всё, конечно, верно, но если человек к этому сам стремится, желает перемениться, самого себя хоть малость, а переделать. А если — нет? И если никого рядом нет, чтобы посоветовать, подвинуть, подтолкнуть?

Одиночество в шумной и суетливой толпе, отчуждённость даже в собственной семье, среди самых родных, когда люди смотрят, а ничего не видят, и всегда-то не было редкостью, но теперь...

Одним словом, Слава бегал и прыгал, в борьбе за мяч толкался и падал, сам толкал других, но было ему всё это безрадостно, не мило, и увеличение командного счёта от забитого им мяча меньше всего трогало его. Зато толкотня злила и обижала. Время от времени он без всяких причин пропускал занятия и в результате отставал от других.

В общем, Слава в спортзале не блистал. Но секцию всё же не бросал. Наверное, потому, что она была единственной. Он ясно сознавал, что в школе можно скрыться от дома, от бесчисленных забот, которые валились на него теперь каждый день без передыха, и был всё-таки рад потолкаться тут, среди таких же, как он, ребят.

Но если быть до конца честным, то надо было при этом признаться в маленьком собственном предательстве. Когда он возвращался, косоглазенькая Матрёна печально смотрела на него, вся какая-то опавшая, похожая на маленькую старушку — ведь в его отсутствие домом управляла она, кроме, конечно, дойки да корма свиньям, и волей-неволей Слава ругал себя и жалел её, потому что она была на три года младше его.

Он начинал торопиться, и малыши крутились вокруг него, будто малые планетки вокруг небольшого солнца — кто миску подтащит, кто ведро для дойки, кто начнет подметать голиком порядком ухаюдаканный пол, и Слава начинал ощущать смысл собственного существования, на время как-то теряя тревогу о гуляющих родителях.

Они приползали по-разному. То поздно вечером, а то и ночевали в гостях, так что являлись поутру.

Но жизнь в доме всё-таки шла. Не такая, как под взрослым приглядом, но всё же... Никто не голодал, и корова не мычала недоеная. А дети если и плакали, то не из вредности своей, а по житейской надобности — младшие, нечаянно обделавшись, а те, кто постарше, ушибившись обо что-нибудь, упав нескладно или ещё по какой другой мальшовой причине.

То ли родители от детей, то ли дети от родителей медленно, но неуклонно отдалялись. Будто льдина оторвалась от берегового припая. Вот только не ясно всё же — кто берег, а кто — льдина...

Только одна душа являлась к ним с чистой заботой — но какая душа-то? Припадочный Митяйка.

Он открывал дверь без всякого стука, и малышня, неумело ещё говорящая, очень дружно и радостно встречала его громким кликом.

Это был общий возглас радости, даже ликования, а Митяйка, вообще-то дядя Митя, распахивал щербатый рот, из которого тянулась длинная нить густой слюны, мычал, издавая невнятные звуки, произносил малопонятные слова и междометия, которые детям были вполне доступны, потому что в общем и целом они выражали доброжелательство.

Митяйка махал руками, скидывал шапку, но шубейку или пальтецо — в зависимости от времени года — никогда, и так усаживался на лавку, лопотал, допотал, шумно, неясно, а малая толпа приплясывала перед ним: то стояла смирно, то смеялась, хлопала в ладоши, падала на задницу, то пиццала и плакала, и всё это враз, одновременно, на разные голоса. Толпа, она и есть толпа — она походила малость на что-то всё-таки общее, единое, на какое-то многоглавое существо с одной всё-таки радостно возбуждённой душой.

Явление Митяя детскому люду иногда и затягивалось, он о чём-то, ему одному понятном, бормотал малым своим почитателям — теперь они подходили к нему по очереди, и гость прижимал их к себе, гладил по головкам, капал на них слюной, но не встречал отторжения в ответ, а только одну лишь любовь получая. Может, оттого, что взрослых-то, собственной персоной папаню и маманю, они хоть и видели, но такого свободного доступа к ним, как к Митяйке, всё же не имели.

Дело кончилось печально. Однажды Митяйка хлопнулся на пол, ни с того ни с сего ударил его припадок, ногами и руками стал молотить об пол, да и головой, будто все эти органы одеревенели, утеряти мягкость плоти, потому что колотили в пол именно как деревянные, изо рта полез огромный слюнявый пузырь.

Дети расступились, ошеломлённые, никто, пожалуй, кроме Славы, до тех пор не видывал Митяйкиных приступов. Гришка заплакал, забившись в угол — он к тому времени уже выучился ходить, — остальные глядели на гостя сжавшись, отодвинувшись, с испуганным любопытством и сочувствием.

Било Митяя с десяток минут, потом он утих, кое-как сел. Слава подал ему кружку с тёплой водой, тот её выпил и заплакал.

Заплакала и малышня. Славик тоже не удержался. Было всем им, конечно, жаль Митяя, обидно, что такая страшная у него болезнь, отделившая его ото всех, даже от малых ребят.

И ещё о чём-то непонятном плакали все они...

Митяйка встал на карачки, потом в полный рост и, что-то гугня, вышел из избы. После этого он хоть и приходил к ребятам, но совсем уж ненадолго, минут на пять-десять. Слушал радостные вопли, лопотал что-то своё, вроде рассказывал о жизни. И удалялся.

## 12

А потом Нюра снова понесла. Славик не сразу разглядел, что мама опять округлилась, но заметил, что стали они с отцом меньше пить. Чаше стали дома бывать, и это его обрадовало. Дойка и корм для свиней опять вернулись к взрослым. Матрёша опять дожидалась брата после уроков, хотя к той поре она уже подросла и занятия у неё длились почти столько же, сколько у Славы. Но от привычек отказываются с трудом.

А Славик теперь почаще ходил на баскетбол.

Попробовал он записаться и в школьную библиотеку — чего там записываться, ихняя же учительница после уроков по часу сидела в комнате с книгами. Но были эти книжки все какие-то не новые, с пожелтевшей бумагой и картинками выцветшими, и не очень привлекали школьный народ. Слава взял книжку-другую, попробовал углубиться, но дома его то и дело отвлекали хозяйские заботы, и он вернул книжки обратно, а новых не взял.

Он знал, что это плохо, но думал, может быть, первый раз о себе: как он будет жить, когда вырастет, куда и как пойдёт, ведь без хорошей грамоты нынче никуда, и надо бы читать, а в старших классах ещё и на компьютере научиться.

Но всегда какое-то раздвоение в себе находил.

Одно дело — понимание. А второе — делание. И вот это делание наваливалось на понимание, все эти хлопоты и заботы. И понимание отступало куда-то вдаль, на потом.

Слава давно уже понял, что в селе ни за что не останется, а то как ма-маня с папаней — таким же придётся стать. Но дальше этого он пока ничего не знал и не понимал. Особенно когда спрашивал себя совсем не по-дет-

ски: а что будет с Матрёшей, куда она? А с Настёной, Алёнкой, Гришуткой? И неизвестным дитём, которого ещё только запланировали мать с отцом?

Ходил в такие дни и часы Славик какой-то пустой, что ли. Смотрел на людей, а их не видел. Говорил, а и сам себя не слышал.

Горькое горево как будто изнутри к горлу подползало от простой мысли, что ходу у него не будет никогда, а всегда будет дума о пьющих матери и отце, а дальше — о Матрёше и всех остальных, потому что ему всех их жалко, и всё! А чтобы самому добиться хоть малого, надо не пожалеть их. Пожалеть себя. И сильно чего-то захотеть.

Слава уже давно знал, что как только начинает задумываться, жизнь вокруг становится хуже. Всякая мысль о самом себе превращается не в счастье, не в надежду и будущую возможность, а как раз в невозможность. Единственное спасение — не думать.

И он пробовал. Старался. Но не получалось.

А маминого укороту ненадолго хватило. Снова они принялись за прежнее. Опять — сначала за обедом, потом уходили — появилась у них в друзьях ещё пара пьющих семей. Шлялись по гостям, потом зазывали гостей к себе. Мальшняя, как мебель, задвигалась в угол, мать с утра мастерила закусь, а когда являлись гости, теперь не помалу, шум стоял, даже ор, и мужики, не смутясь присутствия детей, курили, не выходя на волю, потому как жаль было прерывать интересные разговоры.

Не разговор — толковище. И совсем не интересное, а глупое, все об одном и том же — как тяжело жить.

Слава, наверное, уж на память разучил несуразные и без конца повторяемые речи, и одного не мог никак понять — почему эти взрослые, да и отец, и сама мать не понимают, что она на сносях? Как же им его-то не жалко, будущего младенца?

Обижаясь за этого неведомого человека, он поначалу молча уходил на баскетбол. За ним увязывалась Матрёша, и он знал, что ей хорошо от того, что часа два просидит в спортзале, глядя, как бегают его команда. Но сам-то он горевал. Ну как же! Опять одни! А он сбежал!

И чего делать?

Нет, не сразу, а много стерпев и много исполнив домашних хлопот за мать с отцом, надумал Слава однажды сказать им своё слово.

Это было поутру, когда они, хоть и с похмелья, но понимают, о чём речь, а ему сейчас в школу, и времени — три минуты...

Он сказал:

— Бросьте пить!

Не знал, как это сказать, перебирал всякие слова, чтоб, может, с подходом, а получилось грубо, хотя и прямо. Повторил:

— Бросьте пить!

Они даже приостановились, поражённые. Но это длилось чуть больше мгновенья. Мать держала в руке влажное полотенце — руки вытирала. Этим полотенцем и заехала Славе прямо в лицо. Не больно, а обидно. И прокричала, как прокаркала:

— Яйца курицу не учат!

Слава заплакал, схватил сумку, а на пороге обернулся и крикнул яростно и громко:

— Бросьте пить!

И прибавил:

— Ребёнка пожалей!

О! Это была не речь деревенского несмышлёныша! Получился какой-то приговор! Какая-то угроза матери, и от кого? От сына-пятиклассника.

Он заметил, как она побледнела и кинулась за ним с полотенцем, да отец перехватил её, остановил.

Слава побежал в школу. И только промчавшись метров двести, остановился. Подождал Матрёшу. Она догнала, запыхавшись, сообщила:

— Мирятся! Наливают!

После уроков он не хотел возвращаться домой, а куда в селе-то денешься? Да и Матрёша, всё понимая и чувствуя, одна не шла, не отставала,



и косенькие глаза её, блеклые, светло-голубые и какие-то жалкие, выражали терпение, кроткое смирение.

Его поразила тогда материнская встреча. Едва он угрюмо, не ожидая ничего доброго, переступил порог, мать кинулась к нему, обняла и заплакала:

— Прости, сынок! Прости! Но ты же видишь — одни мы! И никому не нужны! Отец сколько лет без работы! И как быть — никто не скажет!

Слава ко всякому готов был, но не к такому взрослому разоружению, хоть от мамы несло, как всегда, а может, и посильней, чем обычно.

Он растерялся, выпустил из рук свою школьную сумку, крепко схватился за мать и тоже заплакал, даже завыл — такой жалости он не испытывал ещё...

Раньше жалел малышня и любил её, безответную, а родителей во всём корил, хотя ведь в основании-то и их любил, но любил, как казалось, только с его стороны — взрослые вроде совсем перестали обращать на него внимание. И с каждым новорождённым всё меньше доставалось ему не то что добрых слов, но даже ободряющих взглядов.

Его будто зачислили, без его согласия, во взрослые люди и не спрося свалили на него разные тяготы. Всё реже с ним разговаривали, отдавая только приказы, а чаще и без них обходясь, зная, что на старшем лежат, почитай, всякие, без разбору, семейные грузы, которые он волокёт без лишних споров и обсуждений...

И вот он потерял их почти — отца и мать. Перестал чувствовать, знать, что он им нужен просто так, и стал будто бы замерзать в ответ. За словами “мать” и “отец”, как Славе казалось, всё меньше и меньше оставалось интереса к нему, а у него интереса к ним. Одни попойки, неубранность в доме, непорядок во всём, даже в виде небольшой скотины, не говоря про детей... И он не выдержал... И вот она... И вот они...

На этом и закончилось короткое семейное объяснение. Мама плакала, и Слава плакал, а отец сидел, сжав голову, тупо глядя в столешницу, и сын понял, что отец опять пьяный. И он сказал, не требуя, а умоляя:

— Мама! Не пейте!

Нюра отступилась от сына, пошатываясь, присела к столу, нашла гранёную стопку самогона, но остановилась — глядя на немудрёную эту посудинку, шибко сподручную для русского самоубиения...

### 13

А потом родился малыш, его нарекли Сеня, то есть Семён, и хотя даже не шибко образованный Слава беспокоился о его здоровье по причине сплошных родительских выписок, явился он на свет Божий, будто во зло всем рассуждениям на эту тему, крепким, здоровым и радостным.

Семейный мир переменялся; даже самый малый из предыдущих, Гриша, почувствовал новое его качество. Всё как будто бы закружилось вокруг Сени, разумеется, вместе с мамой, да и Нюра с какой-то странной готовностью вдруг переменялась, решительно закрыв всякие пьянки-гулянки и отвергнув новые знакомства, не проходившие без надоевших пьяных утех.

Она и внешне переменялась — рыхлая кожа лица обтянулась, морщины разошлись, и она посвежела, оказавшись вполне ещё молодой женщиной. Переменялось и её поведение — она вдруг притягивала кого-нибудь из своих детей и целовала, целовала, гладила по голове, будто спохватилась, поняла, наконец, что собственные её, кровные детишки недоцелованы и недоласканы. И тут сразу выстраивалась очередь, первое место в которой получали, не считая Семёна, малой Гришутка, Алёна, Настёна, Матрёша, а уж в последний черёд сын Слава, почти мужик, почти взрослый человек, во всяком случае, умелый хозяин в доме.

Славик от маминых поцелуев хоть и уклонялся, показывая детскому обществу особое всё же в нём положение, но душа-то, по-прежнему детская, как то обваливалась в низ живота, сердце вздрагивало и колотилось чаще, и он, хоть и уклонялся, отбивался даже, а сам улыбался и ликовал.

Раза три-то в день, это точно, — утром, в обед и перед сном — вся малышовая рать окружала улыбающуюся, приветливую, молодую новую мать и с лопотаньем, восклицаниями и радостным писком сотворялось это ликование любви и гармонии, и даже отец с удивлением взирал на эти сцены, молча, без всяких слов качая головой. Слава видел, как иногда в отцовых глазах блистают слёзы. Тогда старший отворачивался, а почти взрослый сын его, перешедший в пятый класс, жалел этого человека за его немногословность, за то, что он живёт без работы, без надежды на неё. И к тому же ведь эти радостные пока сцены можно и по-другому оценить: ещё одно грузило себе на шею нацепил, как с ними со всеми выплывешь в бездонном-то море без зарплат — только на детские пособия?

Счастливая пора, которой, сам того не ведая, Сеня одарил семью, продолжалась до тех только пор, пока Нюра кормила его грудью.

Потом она обвязалась чистым платком, подала Сене первую кашку, поглядела, не срыгнёт ли, не замается ли животиком, но парень удался на славу, закалённый, видать, в суровых маминых боях, и взрослые отметили это крепким застольем.

Происходило оно не на глазах у детского мира, а где-то вдали, и перед уходом, взволнованная, видать, предстоящим, но всё же помолодевшая, с сияющими глазами, мама поглядела на Славика, на Матрёшу, снова на Славу, что-то значительное обдумывая про себя, и сказала, обратившись всё же к Матрёше, что она просит её покормить Сеню тогда-то и тогда-то, сменить его пелёночки, когда начнёт кряхтеть, обмыть водой из чайника, но не горячей, и прочие, прочие ненужные, конечно же, подробности.

Этим Матрёша как бы назначалась заместителем мамы по вопросу о Сене, а Слава, который давно и прочно заслужил положение хозяина, мог слегка и вздохнуть.

Слава слушал почти радостное мамино воркованье, опустив голову и понимая, что всё начинается сызнова.

Когда они с отцом уже стояли в дверях, оглядывая оттуда своё славное воинство, вполне трезвые, хорошие, но — вот беда! — радостно возбуждённые предстоящим, Славик сказал им на прощанье, как бритвой полоснул:

— Не пейте!

Взрослые враз потухли, отвернулись от сына и от всех, кто стоял за его плечами, от своего сладкого, зависимого и доброго мира, распахнули дверь и крепко её за собой закрыли. Даже захлопнули.

Славик неожиданно для себя подумал о них совсем по-взрослому: нет, они не жертвы, раз им никого не жалко, они не хотят сохранить самих себя — хотя бы для своего же собственного детского стада.

Они уклоняются от чего-то важного и для всех обязательного.

Они, наконец, предают.

И ещё он подумал: надо их остановить.

## 14

Всё оставшееся словно спрессовалось в один бесконечно длинный день, а, может быть, даже просто в одну мысль, которая не отпускала Славу. Он вставал с ней и ложился, тоже погружённый в неё, и всё, что вокруг, отошло в сторону.

Собственно, переменясь хоть немного Нюра с Николаем, да хоть просто остановись, задумайся, оглянись они — и всё ещё могло бы развернуться по-другому. Но родители словно с цепи сорвались. Каждый день — то дома, то в гостях, у таких же, как они бедолаг, людей совершенно нового склада.

...Слава сказал им ещё раза три:

— Не пейте!

— Не пейте!

— Перестаньте пить!

И все потом вспоминали, особенно Матрёша: три раза. В последний раз прибавил:

— А то я повешусь!

Мать зыркнула на него, ничего не ответив, и опять прошло несколько дней — одинаковых своей похожестью.

В школе Слава совсем замолк, и учителя, добрые души, предпочли его не трогать — не спрашивали на уроках, не требовали ответов, не вызывали к доске. Вообще не говорили с ним.

Ещё Славик перестал ходить на баскетбол.

Как заведённые солдатики, братец и сестрица шагали по утрам в школу, а после уроков двигались домой. Дверь в воротах их дома захлопывалась и вновь отворялась утром, когда надо было следовать на уроки. Не считая, конечно, ходьбы взрослых — куда-то в гости и откуда-то из гостей.

В тот день Славик с Матрёшей, как обычно после уроков, сперва обеспокоились беспомощным живым миром; брат — накормил скотину, сестра обиходила Сеню. Отца с матерью не было. Первый раз брат и сестра ушли из дому, оставив детей одних. Ими управляла Настёна.

Потом старшие учили уроки.

Дальше Слава стал куда-то собираться, и Матрёша увязалась за ним, хотя он нестрого приказывал ей остаться с младшими. Но ведь Настёна уже хозяйничала тут одна: значит, похозяйничает ещё малость.

Была поздняя слякотная осень, ребята шли, оскальзываясь, и Славик молчал, хотя Матрёша пробовала его разговорить.

Село раньше было большим, но теперь оно сжалось, скукожилось, многие дома выпали, будто зубы во рту когда-то молодого хозяина.

Ребята пришли в чужой дом, там их знали. Конечно, и мама с папой, вскипячённые выпитым, радостно приветствовали своих чад нетрезвыми междометиями. Но Слава не поддался ни на какие знаки симпатии и сказал:

— Пойдёмте домой!

Нюра замахала руками, а отец захохотал.

— Что ты! — сказала нетрезво Нюра. — Или мы малые дети? Когда надо, придём!

Славик произнёс дрожащим голосом:

— Хватит пить!

И тогда пьяный Николай, вихляя, подгрёб к сыну и прилюдно хлопыстнул ему по лицу.

Слава страшно побледнел. И крикнул два раза:

— Эх вы!.. Эх вы!..

Матрёша потом рассказывала, что попробовала взять Славу за руку, и он сначала дался — но рука у него тряслась, и весь он дрожал. Он руку свою у Матрёши не выдернул, а осторожно утянул.

Обратно шли молча.

Возле дома, голосом построжавшим и взрослым, Слава велел Матрёше идти к Сёме и ребятам. И зачем-то неумело поцеловал её в лоб.

Она заплакала — это было неспроста. Но не возразила, послушалась — там малышня требовала пригляда.

— Сейчас приду! — ободрил её Славик. И отправился куда-то к сарайке.

## 15

Родители пришли поздно, дети спали, кроме Матрёши, и она попробовала растолковать матери, что Славы чего-то нет дома, уже давненько, а Нюра на это улынулась:

— На сердитых воду возят...

Наутро Матрёша подняла тревогу — Слава никогда не убегал из дому. Родители, слегка пришедшие в себя, обыскали двор и ничего не поняли, послали Матрёшу в школу, может, он туда, где-то переночевав, направился? Но сестрёнка его в школе не обнаружила, зато учителя присоединились к поиску, позвонили в милицию.

Когда участковый на старом мотоцикле с коляской, где сидела Матрёша, подъехал к избе, отец уже стоял над телом Славы, лежащим во дворе на подкинутой под него телогрейке.

Отец нашёл его неподалёку от дома, в лесочке, сильно поредевшем в по-

следние годы. Он висел в верёвочной петле на крепком кленовом суку и уже давно ооченел.

Было ещё довольно рано, грязь прихватил первый морозец, и она смирилась, притворилась простой землей.

Но небо! Небо будто высветилось до самых высоких глубин, и вдали от этой чистоты и ясности снова развиднелись далёкие розовые горы, к которым хочется идти, бежать, лететь, ведь там, наверное, можно найти покой и радость.

Слава любил смотреть в ту сторону...

## 16

На похороны сошлось почти всё село, потому что все удивлялись такой смертью.

Хоть покойных не клянут, да ещё в миг похорон, взрослые говорили, что наказывать пьющих родителей собственной смертью — суцая блажь и недостойный выход: сейчас все пьют.

Дети же не голодали? И старшие в школе! И маленькие здоровые!

На поминках мама и папа выключились раньше всех.

Косоглазенькая Матрёша, когда разошлись взрослые, уложила малышей спать. Настал её черед. Никто не плакал, не ёрился, все притихли. Будто признавали Матрёшу старшей.

Уторкав малышню, она вышла во двор.

В замерзшем, околевшем дворе стоял, качаясь и подняв голову к небу, Митяйка, дядя Митя.

С неба глядел круглый зрачок белой луны. А Митяйка качался. И было тихо.

И вдруг кто-то завыл.

Матрёша подумала, что какая-то прохожая собака. Но вой был не собачий. Скорее — волчий, очень жуткий.

Девочка поняла — это воеет Митяйка, и заплакала...

Но что с них возьмёшь: один — припадочный больной, ни за что не объяснит, почему воеет.

А другая — девочка, потерявшая брата.

## 17

Я должен был написать эту повесть. Не мог не написать, потому что, может, хоть она станет памятником Славику.

Продрогший до звона деревянный крестик на его могилке, сколоченный полоумным Митяйкой, и слова этой эпитафии — дай то-Бог, чтобы они прошибли хоть кого-нибудь!

*Р. С. По неполным данным государственной статистики, с 2007 по 2011 год в России покончили самоубийством 14 157 несовершеннолетних.*